

Тимур Атнашев, Михаил Велижев¹

Языковой реализм и два вида интеллектуальной истории

Timur Atnashev and Mikhail Velizhev
Linguistic Realism and Two Types of Intellectual History

Тимур Атнашев (Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, старший научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления, старший преподаватель; PhD) timur.atnashev@gmail.com.

Михаил Велижев (Сапиенца — Римский университет, приглашенный профессор; кандидат филологических наук; PhD) nun.ce.problema@gmail.com.

Ключевые слова: интеллектуальная история, постмодернизм, Кембриджская школа, презентизм, языковой реализм

УДК: 930.2+808+303.4
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_281

В тексте мы ставим цель описать и проанализировать два вида интеллектуальной истории — историцистскую и постмодернистскую ее версии — в западной и отечественной академической традициях второй половины XX и начала XXI века, указать на различия и неожиданные точки пересечения между ними. Для этого мы намерены обратиться к проблемам природы исторического знания, философии языка, презентизма и (ре)политизации историографии. В первой части статьи мы реконструируем два основных подхода к вопросу о философских основаниях предмета интеллектуальной истории. Во второй части мы постараемся показать преимущества и общественно-политические импликации «реалистической» философии языка как методологической основы, которой могут руководствоваться интеллектуальные историки самых разных направлений.

Timur Atnashev (PhD; Senior Lecturer, Senior Researcher, Center for Public Politics and State Management, Institute for Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) timur.atnashev@gmail.com.

Mikhail Velizhev (PhD; Visiting professor, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia) nun.ce.problema@gmail.com.

Key words: intellectual history, postmodernism, Cambridge school, presentism, realism linguistic realism

UDC: 930.2+808+303.4
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_281

In this article, we aim to describe and analyze two types of intellectual history — its historicist and postmodernist versions — in the Western and Russian academic traditions of the second half of the 20th century and early 21st century, pointing out the differences and unexpected points of intersection between them. To this end, we intend to address the problems of the nature of historical knowledge, the philosophy of language, presentism, and the (re)politicization of historiography. In the first part of this article, we will reconstruct the two main approaches to the question of the philosophical foundations of intellectual history. In the second part, we will try to show the advantages and sociopolitical implication of a “realist” philosophy of language as a methodological framework that can guide intellectual historians with different academic interests.

В настоящем тексте мы ставим цель описать и проанализировать два вида интеллектуальной истории в западной и отечественной академической традициях второй половины XX и начала XXI века, указать на различия и нежид-

1 Первая половина работы написана Михаилом Велижеввым (с. 282–290), вторая — Тимуром Атнашевым (с.290–298) (Обе части согласованы двумя авторами.) Статья

данные точки пересечения между ними. Для этого мы намерены обратиться к вопросам природы исторического знания, философии языка, презентизма и (ре)политизации историографии. Историков часто и справедливо упрекают в недостаточном внимании к теории и философским основаниям собственных изысканий. Как следствие, отдельные работы порой страдают излишней дескриптивностью, отсутствием рефлексии над инструментами анализа и некритическим подходом к проблеме политической ангажированности полученных результатов, которые на деле оказываются маленькими пикселями в больших и чужих идеологических проектах. Интеллектуальные историки в меньшей степени заслужили подобные упреки. Вероятно, рефлексивная природа изучаемого ими предмета требует хотя бы предварительного ответа на два вопроса: как возможно систематическое и объективное (фальсифицируемое) исследование письменной речи и представлений людей о себе и мире? каково общественное значение полученных таким образом знаний?

Нашим центральным аргументом и ответом на первый из сформулированных вопросов является утверждение языкового «реализма» как эпистемологического основания для интеллектуальной истории. Репликой в дискуссии о втором вопросе служит тезис о важности принципов историзма в противовес презентизму. Актуальная и даже скандальная полемика вокруг колонки президента Американской ассоциации историков об опасностях и достоинствах «презентизма» [Sweet 2022] показывает, что интересующие нас проблемы имеют как методологическое, так и прикладное значение для исторической науки в целом². В первой части статьи мы реконструируем два основных подхода к вопросу о философских основаниях предмета интеллектуальной истории. Во второй части мы постараемся показать преимущества и общественно-политические импликации *реалистической философии языка* как методологической основы, которой могут руководствоваться интеллектуальные историки самых разных направлений.

1. Одно понятие, два смысла

Генезис и значения «интеллектуальной истории»

Словосочетание «интеллектуальная история» на русском языке, на первый взгляд, способно вызвать замешательство. Речь идет то ли о новом изводе «истории идей» или «культурной истории», то ли об «истории интеллектуалов», то ли об интерпретации любых продуктов умственной деятельности человека. Как отмечает занимавшийся эволюцией интересующего нас понятия историк Р. Шартье, в европейской научной традиции XX века «интеллектуальная история» не имела четкого дисциплинарного референта, а само понятие возникло относительно недавно. В национальных академических культурах доминировали другие термины: во Франции — «история ментальностей», в Германии —

подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326).

2 См., в частности, бурную полемику и извинения Дж. Суита: <https://twitter.com/ANAhistorians/status/1560737391958433792> (дата обращения: 05.11.2022).

«история духа», в Италии «интеллектуальная история» или «история идей» вообще не фигурировали (см.: [Шартье 2004]). Советская и российская наука до недавнего времени использовала термины «история идей», «история общественной мысли» или «семиотика культуры».

Пространством, в котором понятие «интеллектуальная история» смоделируется куда органичнее, является англоязычная наука: собственно, *intellectual history* возникает и формируется прежде всего в США и Великобритании [Whatmore 2016]³. Однако и здесь есть своя сложность: в настоящий момент термин «интеллектуальная история» используется для *самоопределения* носителями двух во многом противоположных научных мировоззрений. С одной стороны, «интеллектуальными историками» считают себя постмодернистские теоретики истории, с другой — сторонники различных чисто историцистских методов. При этом первые, как правило, атакуют вторых, опираясь на философскую критику оснований историографии. Далее мы хотели бы дать суммарное описание теоретических принципов, которыми руководствуются каждое из направлений, а затем попытаться проблематизировать существующие между ними различия и указать на одно важное и недооцененное прежде сходство.

Мы предлагаем обозначить первую версию интеллектуальной истории как собственно постмодернистскую, а вторую — как «реалистическую». Постмодернистские теоретики истории, такие как Х. Уайт, Ж. Деррида, Ф. Анкер-смит, К. Дженкинс, делают акцент на исключительной важности риторики, литературного письма, нарративов, исторического воображения и способов переживания времени. Более того, они ставят под вопрос саму возможность изучать прошедшее, которое поддается интерпретации только через творческое воображение «реальности прошлого» в отчетливо анахронистическом ключе. Сторонники этого направления считают, что имеют дело с «призраками» или «заветами» прошлого и отказываются систематически изучать исторические значения текстов, предпочитая ответственному выдвигению и проверке гипотез работу с бесконечным многообразием аллюзий и смыслов [Barthes 1968; Derrida 1967; Jenkins 2009]. Заимствуя выражение американского антрополога Кл. Гирца, можно сказать, что речь идет о подмигивании в ответ на подмигивание в ответ на подмигивание [Geertz 1973: 6].

«Реалисты», напротив, настаивают, что риторический характер источников не мешает ставить вопрос об относительном правдоподобии предположений, которые мы делаем о событиях прошлого. Они возвращают историю от творчества к науке, дающей возможность сопоставлять различные гипотезы и отличать более достоверные догадки от менее достоверных. Разумеется, с учетом проделанной в XX веке философской работы «реальность» необходимо максимальным образом проблематизировать и не сводить ее к позитивистски одномерной картине или к метафорам наивного платонизма. Реалисты выступают лишь против попыток постмодернистов отменить любые рациональные критерии при оценке исторических фактов и при интерпретации текстов.

3 Кроме того, о становлении интеллектуальной истории в 1980—1990-е годы и о ее междисциплинарном характере свидетельствуют, в частности, ценные работы Д. Лакапра [LaCapra 1980; 1983; 1992].

Релятивистская критика источников или историография как риторика

К постмодернистской версии интеллектуальной истории мы относим широкий круг историков, философов и литературоведов, которые в явном виде артикулировали различные релятивистские аргументы о природе наших знаний о прошлом, включая Х. Уайта, М. Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Р. Рорти, К. Дженкинса и Ф. Анкерсмита. Как мы хотим показать, вклад этих авторов носит скорее «негативный» или критический характер, выразившийся в атаках на отдельные эпистемологические основания традиционной историографии.

Решительная ревизия научного статуса и теоретических основ историографии, которую во многом спровоцировал американский историк и мыслитель Х. Уайт [White 1973]⁴, поставила под сомнение нашу способность познавать прошлое, опираясь на факты. Согласно Уайту, предложившему понятие «метаистории», нарративная структура четырех великих исторических трудов XIX столетия, написанных в духе «реализма», включает набор скрытых утверждений о прошлом и настоящем, которые не могут быть опровергнуты фактами. Четыре языковые стратегии соответствуют четырем тропам художественного дискурса и составляют основу *исторического воображения*. С помощью особого подбора излагаемых фактов и сумме риторических фигур каждого тропа историк способствует формированию у читателей идеологических установок. Так, комический троп характерен для консервативного идеологического подтекста, а трагический — для радикальной идеологии. Множественность доступных тропов и отсутствие формализованного языка описания прошлого указывают на фиктивную природу исторических «фактов»:

На мой взгляд, нет такой теории истории, которая была бы убедительной и неопровержимой для некоей аудитории только по причине адекватности ее как «объяснения данных», содержащихся в повествовании, поскольку в истории, как и в социальных науках в целом, не существует способа предварительного установления [pre-establishing] того, что будет считаться «данными» и что будет считаться «теорией», «объясняющей» то, что эти данные «означают» [Уайт 2002: 494–495].

В более поздних работах Уайт, представляя себя постмодернистом, атакует профессиональных историков, занятых кропотливым исследованием источников, не понимая философских оснований и следствий своей работы. С его точки зрения, любые реконструкции нормального хода истории скрыто служат консервации сложившихся общественных отношений через утверждение макронарратива как нормы [White 2005]. Начатое Уайтом переосмысление эпистемологических основ историографии оказалось усилено за счет аргументов целого ряда философов и литературоведов, благодаря которым сформировалась постмодернистская или релятивистская ветвь интеллектуальной истории⁵.

-
- 4 Здесь и далее мы даем ссылки только на оригинальные издания историографических и философских текстов, актуальных для нашего исследования, и указываем год их публикации: нам важно показать хронологическую последовательность их появления на свет, хотя часть этих сочинений уже переведена на русский язык.
 - 5 Впрочем, позиция самого мыслителя в отношении «реальности прошлого как оно было» эволюционировала и оставалась необычной для своего лагеря, о чем мы скажем в заключении статьи.

В основе сложившейся в 1970—2000-е годы постмодернистской версии интеллектуальной истории лежат два набора взаимосвязанных тезисов о возможности рационального познания событий и текстов⁶. Постмодернисты указывают на ограниченность нашей способности а) адекватно репрезентировать события с помощью исторического нарратива, который сам опирается лишь на письменные источники и б) адекватно интерпретировать специфическое значение текстов прошлого с помощью новых высказываний. Мы покажем некоторые из ключевых ходов этой философской деконструкции историографии.

В предреволюционном 1967 году французский философ Ж. Деррида в книге «Грамматология» произвел знаменитую деконструкцию письменного языка [Derrida 1967a], за которой сразу последовала публикация его не менее известного сборника «Письмо и различие» [Derrida 1967b]. Деррида заимствует и переворачивает оппозицию Ж.-Ж. Руссо «устная речь как чистый исток» vs. «письмо как искаженная и вторичная репрезентация речи». Он показывает, что письмо как всякая членораздельность и артикуляция исходно опирается на аналитический опыт «различания», лежащий в основе всей западной культуры, включая речь или даже протоязык. Письмо обнажает изначальную коррупцию, порчу любого рационального, расчленяющего мышления реальности в языке. Текст не поможет познать реальность вне-текста, ибо любая реальность дана как ее всегда неадекватная интерпретация. Но и реальность текста, исходно содержащего в себе испорченную структуру различания, в свою очередь непознаваема. В свете такой метаатаки на язык как инструмент и объект анализа любой проект изучения прошлого (и настоящего) посредством текстов обречен на неудачу⁷. Противопоставляя себя господствовавшему в тот период «структуралистскому нашествию» как основе западного мышления, Деррида критиковал историческую науку за мертвый схематизм, который никогда не способен ухватить настоящее:

Подобно меланхолии для Жида, этот анализ возможен лишь после своего рода поражения силы и в некоем порыве угасающего пыла. Вот в чем структуралистское сознание — это просто-напросто сознание как осмысление прошлого, я хочу сказать — факта вообще. Отражение свершенного, сложившегося, сконструированного. Историчное, эсхатичное и сумеречное по своему положению [Деррида 2000: 8—9].

-
- 6 Для этих и последующих рассуждений важно как различие порядка событий и порядка текстов, так и два внешне противоположных этому различению утверждения. События общественной жизни невозможно разумно интерпретировать, не рассматривая их в том числе как знаки, имеющие смысл в более общих культурных контекстах. Появление конкретных текстов в заданной ситуации оказывается событием, для понимания которого необходимо выйти за пределы значения текста в узком смысле. Скажем, интеллектуальная история «публичной полемики о Великих реформах второй половины XIX века в России» не сводится к анализу отдельных сочинений, но стремится реконструировать само общественное явление, где тексты являются лишь частью более сложной социополитической конфигурации. Мы хотели бы указать на важность отличия и частичной гомологии событий и текстов, но не будем входить в более подробный разбор философских предпосылок этой диалектики, которая требует отдельного разговора.
- 7 Опосредование исходной природы с помощью языка приводит к тому, что заместитель восполняет или дополняет реальность, прямая связь с которой утрачена. Невозможность на письме выйти за пределы искажающей и различающей логики протописьма делает и сам философский проект деконструкции Деррида принципиально незавершенным и незавершимым.

В это же время Р. Барт провозгласил «смерть автора» [Barthes 1968]. Произведения без автора не могут иметь никакого целостного смысла, который был бы кем-то авторитетно вложен. Текст понимается как пестрая и скорее случайная по своему узору ткань из цитат, которые, в свою очередь, также являются заимствованиями. В своем масштабном проекте археологии знания, начатом годом раньше [Foucault 1967; 1969; 1971], М. Фуко обличал представление о «субъектности» человека как дисциплинарную и дискурсивную ловушку для подлинной свободы. Объектом исследования становятся порядки дискурса, дисциплины и борьба сил, в сетях которых субъекты лишь выполняют безличную волю властной субстанции. Барт и Фуко почти одновременно атакуют представление об исходном авторском намерении, но предлагают две очень разных стратегии ответа.

Натиск французской философии на рациональность, факты и письмо получил продолжение по ту сторону Атлантики в другом академическом контексте. Начиная с конца 1970-х годов американский философ-прагматик Р. Рорти опубликовал ряд влиятельных работ, критиковавших классическую онтологию, возводимую к Платону, в которой тексты и высказывания интерпретировались как зеркальное (пусть более или менее искаженное) отражение подлинной реальности [Rorty 1979; 1991]. Отказ от устаревшей и догматической, согласно Рорти, метафоры истинного знания как зеркала реальности оборачивается «иронизмом», то есть пониманием, что люди неизбежно оказываются в интеллектуальном плену исторически случайного, контингентного набора понятий, на смену которым со временем приходят новые термины [Rorty 1991]⁸.

Цунами, спровоцированное работами Уайта, пересекло Атлантический океан в обратном направлении. Голландскому историку-постмодернисту Ф. Анкерсмитту принадлежит еще один эффектный образ: представим себе дерево и опавшие листья — дерево уподоблено прошлому, листья — источникам (см.: [Ankersmith 1989]; критику тезиса Анкерсмита см.: [Гинзбург 2004: 310—311, 318—319]). Историки-«реалисты» пытаются изучать ствол и ветви, в то время как постмодернисты заняты анализом листьев. Источники-листья уже полностью оторвались от древа-реальности, таким образом восстановить целое-прошлое по обрывочным свидетельствам представляется фундаментально невозможным. В итоге Анкерсмит предлагает радикально антиисторицистский подход, в рамках которого особое внимание уделяется субъективному переживанию исторического времени (которое во многом производится самими историками), а связь текстов и породившей их реальности окончательно утрачивается.

Наконец, своеобразная квинтэссенция постмодернизма в историографии представлена, на наш взгляд, в работах американского историка и теоретика К. Дженкинса. В своем сборнике 2009 года он синтезирует постмодернистский подход к прошлому как часть того, что *теперь* очевидно всем (кроме большинства упорных в своем неведении кротов-историков). Опираясь на авторитет Деррида, он отмечает:

8 Ни один из языков не может претендовать на более или менее адекватное изображение реальности, но они сами и задают то поле лингвистической реальности, в котором живет человек. Ирония, связанная с осознанием относительности наших представлений, дает обществам одно важное преимущество — надежду на мирный характер сосуществования носителей разных языков, ни один из которых не вправе претендовать на монополию и власть. Сходный аргумент о исчезновении конфликтов в ситуации постмодерна мы находим у Ж.-Ф. Лиотара, о чем будет сказано ниже.

...прошлое осмысляется как ничто, как белый холст или экран, на который историки проецируют полюбившуюся им историю. Это обозначает, что любой смысл, который можно было бы приписать прошлому, приходит извне... Прошлое (все то, что произошло «до нас») открывается бесконечным интерпретациям и реинтерпретациям, непреодолимому релятивизму прочтений [Jenkins 2009: 4].

Еще одной из лаконичных формул, заимствованной у Анкерсмита, Дженкинс утверждает примат литературных операций по воссозданию прошлого над исторической реальностью: «без репрезентации нет прошлого» [Ibid.: 261]. Согласно постмодернистской логике, онтологический статус фактов гетерогенен онтологическому статусу нарративов или письма (ибо события не имеют исходную форму «рассказа»⁹). Отсюда прямо выводится свобода историка создавать мириады вольно парящих интерпретаций.

Однако существует еще одна важнейшая для Дженкинса и для значительной части других постмодернистов линия аргументации о природе языка, которая указывает на неотрефлексированную ими собственную непоследовательность. Когда мыслители-релятивисты неожиданно переходят от культурной надстройки к экономическому базису, на новой почве их суждения становятся более уверенными. Согласно этой точке зрения, бесконечная пластичность постмодернистских интерпретаций *отражает* современную структуру общественных отношений.

Так, на рубеже 1970—1980-х годов французский философ Ж.-Ф. Лиотар перформативно и весьма успешно объявил о наступлении новой эпохи постмодерна [Lyotard 1979]. В чем, согласно Лиотару, состоит существо нового состояния культуры? Информатизация и коммерциализация массовых коммуникаций приводит к постоянному умножению версий любых авторитетных интерпретаций в интересах политиков и частных компаний¹⁰. Постмодернизм надолго становится самописанием нового интеллектуального и социального контекста в развитых обществах «позднего капитализма». В работе другого французского классика, Ж. Бодрийяра, во многом опиравшегося на постмарксистский анализ коммерциализации массовых коммуникаций, близкий к концепции Лиотара, тексты и высказывания отрываются от реальности и замещают ее «симулякрами» [Baudrillard 1981]¹¹. В «Призраках Маркса» Деррида отказывается от онтологии присутствия и отсутствия, но вполне уверенно формулирует структурную связь капитализма и феномена призрачности, на который он стремится указать:

-
- 9 Как если бы онтологический статус химических или физических формул должен был совпадать с волно-корпускулярной текстурой материи, для того чтобы ученые могли спорить, какая из них лучше описывает факты. Естественные науки обходятся без гомологии реальности и способов ее описания.
 - 10 В результате изменения социально-экономической структуры коммуникаций исчезает доверие граждан к «большим нарративам». Ни экспертные оценки технократов, ни консенсус по модели Ю. Хабермаса не достаточны, чтобы вернуть веру общества в конкурирующие между собой дискурсы. Впрочем, с точки зрения Лиотара, эта утрата легитимности сопровождается своеобразным умиротворением социальных конфликтов через рынок и ощущение тотальной прозрачности массовых коммуникаций.
 - 11 Тексты-симулякры не просто прячут подлинный смысл, но представляют собой единственную истину новых медиатизированных и коммодитизированных социальных отношений. Бесконечные коммуникации и составляют отныне «пустыню реальности», за которой ничего больше не стоит. Речь не карта реальности, но сама реальность. Впрочем, эта действительность лишена определенности и смысла. Как

Предлагая данное заглавие, «Призраки Маркса», я поначалу думал о всевозможных формах наваждения, которое, на мой взгляд, организует те формы, которые господствуют в сегодняшнем дискурсе. В пору, когда новый мировой беспорядок пытается установить свой неокapитализм и неолиберализм, никакому отрицанию не удается избавиться от всех призраков Маркса. Гегемония всегда организует репрессии, а значит, подтверждает наличие наваждений. Наваждение относится к структуре всякого господства [Деррида 2006: 30].

Пожалуй, чуть менее рефлексивно используя ту же онтологию языка и социально-экономических отношений, Дженкинс заключает:

Постмодернизм — это то, что прописал капиталистический доктор, ибо его релятивизм срывает остатки ограничений на новые социальные практики в пользу бесконечной гибкости и текучести, а значит, в пользу тысяч новых форм национальной и международной эксплуатации [Jenkins 2009: 11]².

Разные по силе и происхождению аргументы Деррида, Уайта, Барта, Лиотара, Фуко, Рорти, Дженкинса и других теоретиков второй половины XX века множественными путями приводят к схожему выводу — деконструкции языка как инструмента, пригодного для адекватного и целостного отражения (социальной и исторической) реальности и для анализа самого себя как реальности. Ретроспективно обозревая результаты проделанной постмодернистами работы, мы можем отметить их успехи в проблематизации и теоретизации ремесла историков наряду со слабостью практических результатов.

Сила доводов и жизнеспособность нового языка для рефлексии социальной реальности, предложенные этой плеядой философов, значительна: они оказали огромное влияние на историографию, литературную критику, филологию, антропологию, исследования медиа и культуры. Между тем постмодернистская деконструкция социальной реальности как бесконечной сети взаимно аллюзивных текстов весьма уязвима. «Поздний капитализм», «коммодитизация» или «неолиберализм» оказываются инструментами вполне «реалистического» осмысления интеллектуальной истории как отражения подлинной экономической и политической структуры общества. Коротко говоря, постмодернистские теоретики по умолчанию используют реалистический тип аргументации исключительно для релятивизации чужого дискурса об обществе и его прошлом, а собственная реалистическая социальная модель при этом выводится из-под аналогичной критики.

показывает С.Н. Зенкин, подобно романтикам, Бодрийяр видит в симулякрах лишь тени утраченной подлинной реальности (природы, исторического прошлого, народного волеизъявления), но вернуться к истоку в современном социальном контексте уже невозможно [Зенкин 2011].

- 12 При этом радикальный релятивизм Дженкинса и левых постмодернистов не сводится к утверждению позднего капитализма. По мнению Дженкинса, он служит для атаки на статус-кво и разрушения любого интеллектуального обоснования существующего общественного порядка. Впрочем, остается неясно, как разрушение любых оснований в целях апологии позволяет сформулировать общую левую позитивную повестку, без которой релятивизм сохраняет свою функцию поддержания бесконечного плюрализма мнений при позднем капитализме. Более критически настроенный к релятивизму американский историк культуры и марксист Ф. Джеймисон написал скандальную статью, а затем книгу, где прямо в названии увязывает постмодернизм и поздний капитализм (см.: [Jameson 1991]).

Социальная реальность как речь: контекстуалистский подход

Представители Кембриджской школы придерживаются во многом противоположного взгляда на интеллектуальную историю, хотя развитие этого подхода также связано с радикальным обновлением философии языка. Их анализ стал результатом сознательной ориентации истории политической мысли на методы, разрабатывавшиеся в аналитической философии в 1940—1960-е годы. Другим эпистемологическим импульсом для историков из Кембриджа стала сверхпопулярная книга Т. Куна «Структура научных революций» [Kuhn 1962], в которой он показал, что даже в естественных науках, претендующих на строгость и объективность, действуют мощные социальные факторы, определяющие границы доказательства и статус истины.

«Реалистическая» интеллектуальная история отталкивается от лингвистического и исторического контекстуализма: во-первых, от поздних работ Л. Витгенштейна, согласно которому значение того или иного слова исчерпывается не формальными определениями, отсылающими к сущности понятия, но спецификой лингвистического узуса, то есть контекстом конкретного высказывания, во-вторых, от теории речевых актов Дж. Остина, в которой значение словесного действия определялось прагматическим контекстом того или иного утверждения, понятного как ход во взаимодействии с другими людьми.

К. Скиннер перенес принципы аналитической философии языка в историю идей. В программной статье «Значение и понимание в истории идей» (1969) он предложил теоретическое основание «лингвистического» контекстуализма, ориентированного на реконструкцию специфически понятой авторской интенции, которая заключена в самом тексте и его контексте, а потому подлежит научно верифицируемой экспликации [Скиннер 2018]. Позже, уже в 1990-е годы и далее, Скиннер обратится к исследованиям риторических конвенций, заложенных в сочинениях самого разного жанра (от политических трактатов Т. Гоббса до ранних пьес У. Шекспира) и предопределявших их раннюю рецепцию. Дж.Г.А. Покок, в отличие от Скиннера, сделал акцент на изучении политических языков, чью эволюцию он толковал из исторической перспективы — как постепенное формирование модусов политической речи из профессиональных языков и языков второго порядка [Покоч 2018].

«Кембриджская» разновидность интеллектуальной истории, как и сходные в этом отношении исследовательские программы К. Гинзбурга, Р. Дарнтона, А. Лилти или Р. Шартье, противоположна по смыслу постмодернистскому проекту. Речь идет об историцистском подходе, цель которого состоит в воссоздании утраченных контекстов, позволяющих высветить оригинальные, исходные валентности текста или смыслы, свободные от сложившихся вокруг них впоследствии мифологий. Более того, выяснилось, что прежнее значение того или иного произведения способно сослужить анализу современной политической ситуации не меньшую пользу, нежели анахронистическое прочтение «из настоящего»¹³. Именно такой подход прежде всего и связыва-

13 Повышенное внимание к первоначальному контексту политического жеста не мешало Скиннеру и Пококу выстраивать метанарративы: оба основателя Кембриджской школы (а также Дж. Данн, много занимавшийся творениями Дж. Локка [Dunn 1969])

ется с «интеллектуальной историей»: он оказался наиболее продуктивным как методологическая программа для эмпирических исследований на материалах по истории Италии, Англии, США, Франции или России [Атнашев, Велижев 2018; Collini 2016; Whatmore 2016].

Историцистская концепция прошлого получила свое обоснование в целой серии академических опросников, появлявшихся в печати с середины 1980-х годов и посвященных осмыслению интеллектуальной истории как самостоятельной дисциплины. Наиболее недавний, репрезентативный и известный из них — датское издание «Интеллектуальная история: 5 вопросов» («Intellectual history: 5 questions»). Характерно, что среди более чем двадцати участников опроса нет ни одного теоретика-постмодерниста. В остальном в книге представлены интервью с историками, занимающимися самыми разными сюжетами, однако всех их объединяет интерес к реконструкции первоначальных контекстов при исследовании политических или культурных явлений [Jerresen et al. 2013]. Название «интеллектуальная история» во многом закрепилось за «кембриджской» версией дисциплины благодаря недавним основополагающим работам Р. Уотмора: монографии «Что такое интеллектуальная история?» [Whatmore 2016] и специальному справочнику на аналогичный сюжет [Whatmore, Young 2016]. В многочисленных исследованиях, связанных с именем Уотмора, предмет и метод интеллектуальной истории понимается почти исключительно в рамках историцистского направления, а главным вызовом интеллектуальной истории становится глобальный характер современного знания о человеке.

2. Языковой реализм: аргументы за

Существование двух версий интеллектуальной истории ставит перед гуманитариями две проблемы — обоснование (не)научного статуса исторического знания и соотношения знания и политики. Ниже мы намерены обсудить намеченные прежде точки расхождения между двумя вариантами интеллектуальной истории в контексте вызовов, стоящих сегодня перед науками о человеке. Как мы постараемся показать, постмодернистская программа релятивизации отношений между текстом и социальной реальностью может быть *переосмыслена* в «реалистическом» ключе. Для этого необходимо последовательно прояснить ряд неотрефлексированных, но ключевых допущений постмодернистской критики языка как инструмента и предмета научного познания, а также рассмотреть вопрос о том, как политическая валентность историографических нарративов (не) ставит под вопрос их научный статус.

восстанавливали утраченные смыслы и языки, тем самым актуализируя их, но при этом следуя правилам научного исследования, то есть главным образом избегая анахронизмов. Именно так Скиннер реанимировал третье понятие свободы, оказав влияние на Ф. Петтита с его концепцией свободы как недоминирования, а Покок «открыл» республиканскую традицию Нового времени (подробнее см.: [Petit 1997; Росоцк 1975; Skinner 1998]).

Аргумент 1: Постмодернистская критика и тайный языковой реализм

Полемический смысл значительного числа постмодернистских аргументов о природе письма и языка (а мы, в отличие от наших релятивистских коллег, утверждаем, что в этих аргументах, как и в других высказываниях, можно реконструировать устойчивые *исходные* и *заложенные авторами* смыслы) заключается в том, что историография должна служить эмансипаторной критике сложившего социального порядка. Лиотар, Фуко, Деррида, Дженкинс и многие другие теоретики показывают, как язык и письмо, а также связанные с ними претензии на достоверное и авторитетное знание, работают на подавление и господство или на коммерциализацию общественных отношений. Релятивисты хотят восстановить нарушенный баланс, ограничив консерватизм и усилив эмансипацию через общественно-научный дискурс. Вместо нейтрального медиума научной истины или кладезя здравого смысла язык оказывается прежде всего инструментом скрытого политико-экономического господства. Этот аргумент следует признать основательным. Однако само его признание, в свою очередь, подразумевает модель социальной реальности как риторического агона, где, во-первых, высказывания и тексты служат отражением другой реальности и одновременно местом общественной борьбы, а во-вторых, сами релятивисты могут открывать и адекватно познавать сложную связь речи и социальных конфликтов, обнажая консерватизм других коллег или продвигая повестку освобождения. Именно на это неотрефлексированное противоречие, центральное для постмодернизма, мы и хотели бы указать.

С точки зрения релятивистов, говорящих о неуловимой многозначности текстов, в устроенном таким образом мире *на самом деле* и вполне однозначно существуют отношения господства, неравенства и торговли, происходят столкновения групп, соперничающих за право определять норму¹⁴. Провозглашаемая прозрачность реальности и письма, в которой текст остается без референта, а реальность дана лишь как текст, на наш вкус, слишком быстро уступает место безусловному утверждению идеологической борьбы в обществе разных и неравных. Очевидно, что для постмодернистских авторов общественная риторическая борьба и подлежащий под ней поздний капитализм — это рабочая модель социальной реальности, которая разделяется и полагается большинством мыслителей, о которых мы упомянули выше. Однако сама эта модель претендует на статус адекватной интерпретации социальной реальности.

Как мы помним, Т. Кун считал конкурирующие за признание и ресурсы сообщества ученых, разделяющих общую парадигму, вполне адекватной ин-

14 Помимо аргументов Куна, о которых мы кратко сказали выше, мы также можем отметить более позднюю версию социологии знания П. Бурдьё, направленную на анализ академического пространства в современной ему Франции [Bourdieu 1976]. Ученые играют в игру, где «научная истина» — главная ставка, которая определяется исключительно признанием коллег, а реальной целью служит увеличение социального капитала. Объективная истина и ее критерии не вполне исчезают из поля науки, но на первое место выходит социальное измерение дискурса, претендующего на статус нормы в ученом сообществе. Однако сами эти процессы формирования знания в конкурентном академическом поле социолог может вполне доказательно изучать, что позволяет говорить об общей повестке языкового реализма.

терпретацией социальной реальности [Kuhn 1962], однако делать из этого вывод, что любые интерпретации «свободно парят» без связи с действительностью и являются лишь «инструментами господства» — это проявление поспешного «заглатывания» аргументов без их усвоения. Усваивая эти аргументы, можно признать, что язык служит, с одной стороны, средством социальной борьбы и кооперации, а с другой — ограниченным, но адекватным инструментом познания.

На достаточно высоком уровне абстракции Кембриджская школа (или, скажем, итальянская микроистория) близки постмодернистам в критике позитивизма или наивного платонизма в истории идей. Другим общим прозаическим фундаментом для реалистов и части постмодернистов (впрочем, не осознающих, что говорят прозой) служит понимание того, что риторические стратегии и тексты, по сути, и являются важнейшим слоем социальной реальности. При этом теоретики-релятивисты по факту считают, что тексты отражают иную действительность (политико-экономическую), а реалисты как раз подчеркивают автономию культурного поля.

Ошибка радикальных постмодернистов заключается в том, что они используют открытие языка как инструмента социального действия и господства в качестве аргумента против возможности объективного научного поиска. Однако на деле они разделяют веру в адекватность действительности самой модели общественных отношений как полемики или идеологической борьбы языковыми средствами. Допускаемое многими ведущими постмодернистами отождествление позднего капитализма (как мира массовых и коммерциализированных коммуникаций) с релятивизмом и постмодернистским отказом от установки на «реальность» и истину само содержит очень сильное утверждение. Для людей, считающих любые устойчивые значение текстов и событий прошлого иллюзорными, уверенность в господстве капитализма должна казаться избыточно реалистичной. Откуда известно, что бесконечную сложность общественных явлений и текстов можно адекватно описать как поздний капитализм?

Кажется, постмодернистам следует более систематически осмыслить обе части своих убеждений. Представления о «чистом», незаинтересованном поиске истины, о полной нейтральности научного или экспертного знания были убедительно опровергнуты в ходе интенсивной полемики XX века. Более оправданный реалистический вывод из вышеописанного набора релятивистских аргументов в применении к интеллектуальной истории состоит в выборе языка как специфического предмета изучения, который нужно анализировать в его собственной логике — полемического обмена высказываниями в соревновании за признание, нормы и общую картину мира.

Резюмируем наши тезисы в пользу языкового реализма. Во-первых, интеллектуальная деятельность вплетена в ткань социальных отношений и, безусловно, оказывается инструментом борьбы, кооперации и в широком смысле полем социального действия *par excellence*. В этом качестве полемические высказывания (а любые высказывания и тексты суть часть общественной дискуссии) составляют самостоятельный порядок, который не сводится без остатка к игре каких-то иных факторов. Во-вторых, сами «идеи» не представляются ни адекватным отражением реальности, ни выражением «сущностей», лежащих за пределами физического или социального мира. Историк не способен установить сущность *идеи* «нации» или «государства», хотя многие современные

исследователи в России и в мире, вероятно, все еще мыслят внутри этой парадигмы. Вместо обращения к абстрактным «идеям» историку скорее следует интерпретировать «высказывания» в их специфическом языковом и социальном контексте, что на практике указывает на необходимость реконструкции локально заданного репертуара смыслов и значений, на важность конкретных заимствований и аллюзий (не случайно филология и интеллектуальная история имеют много общего). Релятивистская критика языка и историографии дает методологический инструмент историку-реалисту. Наконец, в-третьих, историки по умолчанию мыслят свою науку, находясь внутри предзаданной культурной ситуацией воображаемой структуры времени (прогрессивистской, апокалиптической, контингентной и др.), которую полезно осознавать¹⁵.

Стратегия языкового реализма позволяет конструировать более или менее убедительные модели описания, с помощью которых можно воссоздавать значения сделанных ранее высказываний в исходном историко-социальном контексте, равно как и изучать позднейшую *рецепцию* этих высказываний в конкретный исторический период. Тексты принципиально открыты множественности истолкований в будущем, однако потенциальная открытость новым интерпретациям не означает, что у текста не было оригинального и более узкого контекста. Вернемся к тезису К. Гирца о подмигивании в ответ на подмигивание, который кажется почти неотличимым от «призраков призрака» Деррида или от утверждений Р. Барта. В отличие от постмодернистов, подчеркивающих творческий и игровой характер своих трактовок, Гирц ближе реалистической линии. Он по умолчанию исходил из того, что его анализ курьезных случаев взаимодействия людей разных культур в Марокко или петушинных боев на Бали адекватен сложному устройству самого предмета исследования. Указывая на важность воображения и *fiction* для антрополога, стремящегося освоить и разъяснить «символические действия» людей иных культур, он настаивал на научности и правдоподобию собственных гипотез [Geertz 1973: 16—30]. Рорти, который считал себя релятивистом, ратовал за контекстно-ориентированную историю философии как наилучшую стратегию изучения истории мысли [Rorty 1984]. Следовательно, «реальность» мысли (точнее, высказываний) подлежит методической реконструкции.

Аргумент 2: Историзм и/или «фиктивность настоящего»?

Значимым этапом в теории историографии последних двадцати лет стало большое внимание к тому, как мы сегодня представляем структуру или режимы исторического времени. Речь идет о так называемом темпоральном повороте в гуманитарных науках (см., например: [Олейников 2021]). Историк, погруженный в общественный контекст, стремится определить исходную точку, из которой он смотрит на прошлое и намечает границу между прошедшим и настоящим. В знаменитой реплике Л. Хант, тогда президента Американской ассоциации историков, презентизм предстает как двойная опасность для историографии — он скрывает имплицитное и незаслуженное чувство морального превосходства над прошлым и мешает понять инаковость прошлого

15 Этот аргумент мы последовательно обсуждаем в следующем разделе статьи, посвященном историзму.

в его собственных терминах [Hunt 2002]. Классическая работа Ф. Артога о презентизме, вышедшая в 2003 году, во многом резюмировала накопленный опыт и задала новую понятийную сетку для последующей дискуссии [Hartog 2003]. Книга Артога демонстрирует, что речь идет, возможно, не просто об опасности для историографии, но о совершенно новом интеллектуальном вызове. Обсуждение вопроса о времени стимулировало появление аргументов в пользу признания «множественной темпоральности» [Jordheim 2012]. В свою очередь, неотрефлексированная ранее фикция единства «настоящего» стала объектом продуктивной критики [Osborne 2013].

В рамках каждой культурной общности в данный момент времени мы обнаруживаем сосуществование нескольких пластов или слоев темпоральности, то есть качественно различных суждений о характере настоящего момента и об общей логике исторического процесса. Скажем, в начале XXI века С. Пинкер предлагает аргументы в пользу прогрессистской модели истории, Артог фиксирует гегемонию презентизма, сохраняют свое влияние циклические нарративы, а ряд современных российских и западных философов в диапазоне от А. Бадью до А. Дугина актуализируют апокалиптические ожидания. На уровне массовой культуры феномен исторической памяти общественных групп, многие из которых осознают себя через верность знаковым событиям прошлого, создают многоцветие «широкого настоящего времени» [Gumbrecht 2014]. В целом мы разделяем *критические* аргументы презентистской реконструкции настоящего, но хотим оспорить ее методологические импликации.

Признание наслоения разных представлений о времени влияет на историческую установку исследователей и ставит вопрос: можно ли проводить символическую границу между прошлым и настоящим, если первое столь неоднородно? В недавнем номере журнала «Логос» опубликован репрезентативный блок материалов о «темпоральном повороте», в котором современные теоретики истории развивают тему множественности настоящего. В обстоятельной и фундированной статье один из крупнейших специалистов по темпоральности Б. Бевернаж заявляет, что следствием структурного расщепления современности выступает невозможность провести грань между прошлым и настоящим, поскольку нельзя утверждать инаковость или «прошедшесть» прошлого без исчерпывающего исследования многослойной современности [Бевернаж 2021]. Опираясь на критику настоящего со стороны П. Осборна [Osborne 2013], Бевернаж пишет о перформативном характере границы между современностью и прошлым:

Называя современное фикцией, Осборн не хочет сказать, что оно не имеет отношения к реальности. Скорее, он имеет в виду, что современное отчасти возникает в результате «продуктивного воображения» и является очень даже реальным, потому что функционирует как перформативная проекция, которая «создает настоящее» или «социально актуализирует» несуществующую в действительности взаимосвязь проживаемых времен [Бевернаж 2021: 82].

Согласно Бевернажу, профессиональные историки часто «производят прошедшесть» как способ дискредитировать определенные типы поведения с высоты своей социальной позиции. Скажем, утверждение об архаичности чужих культурных практик скрывает перформативную попытку закрепить более сильную позицию говорящего в символической иерархии как представителя торжествующей современности.

Вместе с тем утверждение, что рабство в США — это феномен прошлого и нет нужды критиковать Аристотеля за апологию рабовладения¹⁶, по мнению Бевернажа, направлено против тех, кто указывает на сохраняющееся наследие расового неравенства в отношении афроамериканцев, и тех, кто призывает к тому, чтобы проследить преемственность современных форм угнетения в прошлом [Там же: 85]. Долгосрочные процессы деколонизации, секуляризации или окончание апартеида (всегда) рано объявлять явлением прошедшей эпохи, ибо мы никогда вполне не изучим многообразие многослойного настоящего. Бевернаж утверждает, что историзм не следует отбрасывать, но скорее оживить и обновить, осознав его скрытые идеологические импликации [Там же: 87]. Мы согласны с критикой идеологического производства исторической дистанции, где поспешно выстраивается иерархия современного и анахронистического.

Наши возражения Бевернажу можно свести к нескольким соображениям. Мы легко и всюду обнаружим сходную расщепленную структуру представлений о времени, и сегодня, и в предшествующее время. Это не отменяет возможности исторического изменения режимов темпоральности, или, точнее, специфической конфигурации их разных «слоев», а значит, из данных открытий вовсе не следует «презентизм» как отказ от границы между прошлым и настоящим¹⁷.

Актуальный историзм как методологическая установка близок базовой операции антропологии и всех гуманитарных наук, нацеленных на понимание. Речь идет о принципиальном допущении инаковости и множественности историко-культурных контекстов. Антрополог по умолчанию делает подобное допущение границы по отношению к своим современникам, а историк — к людям и сообществам прошлого. Осознание множественности сообществ и контекстов настоящего, по сути, только усиливает необходимость отдать себе отчет в дистанции между людьми, поведение которых исследователь хочет истолковать, и самим исследователем. Прошедшее прошлого усиливается несовременностью настоящего внутри различных социальных групп. Историк стремится осознать собственные представления и предрассудки, а также личный опыт переживания темпоральности. Отменяет ли все сказанное историцистское дистанцирование и отстранение от прошлого? Нам кажется, напротив, — лишь делает его необходимым как условие понимания себя и других.

Аргумент 3: Реполитизация истории: альтернативный путь

Наш третий аргумент связан с вопросом о желательности реполитизации (или, напротив, актуальности деполитизации) историографии с учетом уже сфор-

16 Как это делает в 2002 году Л. Хант [Hunt 2002], когда она переворачивает идеологическое острое аргумента, который позднее использует Бевернаж, и указывает, что, обвиняя Юма в расизме или Аристотеля в рабовладении, мы оказываемся в той же логике исторического превосходства, считая себя вправе осуждать невежественных жителей прошлого.

17 Так, Покок показывает сосуществование нескольких линий анти-Просвещения в век Просвещения [Росок 1999], что не отменяет того факта, что режим темпоральности рубежа XVIII—XIX веков и начала XXI века могут иметь существенные различия с точки зрения композиции слоев историософских представлений и образов переживания времени, которые историки смогут реконструировать для каждого из этих периодов.

мулированной выше позиции. Мы хотели бы использовать в качестве точки отсчета систематический и тонкий анализ дискуссии о необходимости реполитизации исторического знания в работах одного из главных отечественных теоретиков историографии А.А. Олейникова [Олейников 2021]. Российский философ прямо увязывает два феномена — темпоральный поворот, о котором мы говорили выше, и осознание политической значимости ремесла историков в публичном пространстве.

Олейников убедительно показывает, что относительно новое представление об истории как контингентном множестве различных тенденций, укладов и решений, в сочетании с памятью об альтернативах господствующему порядку, служит легитимацией для политической «утопии», для поиска новых путей в политике. Такой тип реполитизации истории как множества альтернатив для настоящего и будущего он считает наиболее адекватным. Напротив, телеологические версии исторического нарратива, сложившиеся в XIX веке, имплицитно содержат политическое утверждение «необратимости прошлого», которое привело к «благополучному настоящему», которое, в свою очередь, желательно сохранить навсегда. Соглашаясь с поздним Х. Уайтом, Олейников утверждает, что основанная на телеологическом нарративе историческая дисциплина защищает консервативный реализм как тип политического мышления и инструмент в руках политиков и чиновников в национальном государстве [Там же: 12]. При этом сам Уайт предлагал иной модус реполитизации истории — через возрождение ее моральной и воспитательной функции и поэтизацию образцов добродетельного поведения (*magistra vitae*). Развивая аргументы М. де Серто и М. Бивира, Олейников утверждает, напротив, возможность радикального историзма, которая позволяет в принципе устранить предположение об исторической закономерности происхождения настоящего из прошлого и тем самым указать на множество политических альтернатив [Там же: 15–25].

Различение двух модусов реполитизации и морального подхода Уайта, а также демонстрация консервативного заряда «политики интерпретации» истории как необратимого и закономерного ряда событий представляются нам вполне разумными, но недостаточными, чтобы стать общей нормативной рамкой историографии как дисциплины. Мы считаем, что историк: а) *может* по мере сил стремиться осознавать политические импликации своих суждений и своего исторического воображения, и для этого аргументы Уайта и Олейникова дают прекрасный ориентир; б) *способен* явно артикулировать или бессознательно проецировать свои политические предпочтения и ценностные интересы в диапазоне от консерватизма до утопии [Атнашев, Велижев 2020], предлагать новые политико-философские концепции, опираясь на раскопки старых и уже забытых теорий [Skinner 1998], или же поддерживать память о примерах добродетельного и недостойного поведения [White 2014]. Начало специальной военной операции в феврале 2022 года подтверждает, что потребность в моральной позиции историков и гуманитариев не уменьшается со временем, как могло бы показаться из наивной прогрессистской перспективы. Однако открытая политическая борьба на поле истории или вмененный выбор одного из модусов политизации едва ли способствуют свободному поиску лучшей версии описания прошлого.

Реполитизация истории в любом из двух модусов, а тем более в форме политики памяти, оказывается обоюдоострым оружием. Границы для битвы пуб-

личных интерпретаций совместного прошлого будут задавать лишь разные формы цензуры и санкций против «еретиков». Сторонники и противники капитализма, прогресса, контингентности, социализма, традиции или неизбежности войны смогут черпать свои аргументы в политизированной истории. Если идеологические выводы из используемых методов или получаемых результатов исследования о прошлом становятся важнее, чем возможность научно их оспаривать, то где гарантия, что историю не политизируют и не монополизируют люди, чьи мнения нам чужды или прямо враждебны? Дабы не растворять настезь ящик Пандоры, мы хотели бы дополнить призыв Олейникова к осознанию двух метамодусов реполитизации истории двумя соображениями.

Во-первых, важно оставить за ученым право не иметь четкой политической позиции, которая бы задавала выбор тем и тем более предопределяла бы его суждения об изучаемых вопросах¹⁸. Во-вторых, мы считаем важным осознавать, обращать внимание на возможные политические импликации или *политическую валентность* собственных исторических штудий, даже если сам ученый не ставит себе явные идеологические цели (см., например: [Велижев 2022]). Мы хотели бы предложить эскизную типологию таких непреднамеренных политических следствий штудий прошлого.

На *макроуровне* исторической абстракции мы можем говорить о политической валентности режимов историчности, которые включают в себя как субъективные модели переживания времени, так и макронарративы о ходе развития человечества или отдельных сообществ. Скажем, апокалиптическое, контингентное или прогрессистское видение истории будет иметь различные политические следствия [Олейников 2021]. Из вышесказанного, однако, не следует, что невозможно добиваться *научного прогресса* в аккумуляции знаний о макротенденциях исторической эволюции, таких как модернизация, бюрократизация, отношение центра и периферии или рост эмоционального самоконтроля¹⁹.

На втором, *промежуточном* уровне исследования отдельных явлений, например в рамках истории чтения, эволюции политической философии либерализма или истории повседневности, мы можем говорить о прямой политической валентности полученных результатов. Суждения о «целостности» какого-либо периода или отдельной социальной общности (класса, слоя, нации, региона, идентичности) являются результатом не вполне обосновываемого выбора, скорее чем аргументации и отсылки к фактам [Jenkins 2009: 8]. Выводы историка либерализма о «либерализме», вероятно, не оставят равнодушным ни либерала, ни марксиста, ни либертарианца. Тем не менее задача написания истории либерализма как политической философии и как идеологии не является бессмысленной и может быть решена с большей или меньшей

18 Мы придерживаемся сделанного М. Вебером классического различения исследовательского интереса (который определяется битвой богов в душе ученого) и полученных результатов (которые должны формироваться научным и беспристрастным образом). Однако мы можем констатировать, что существует множество исследователей, не имеющих явной идеологической повестки.

19 Как показывает Н.С. Розов, успехи исторической макросоциологии дают основания для сдержанного оптимизма [Розов 2011]. Однако важно не смешивать такие результаты с историософскими моделями, которые могут быть гомологически им близки.

убедительностью на основе эвристической модели и фактов (см., например: [Freeden 2015]).

Наконец, мы можем обратиться к вопросу о политической валентности разысканий в отношении отдельного случая, предполагающего реконструкцию локальной констелляции фактов. На уровне анализа *микроейсов* возможны как прямые политические импликации, так и подчеркнутый нейтралитет. Скажем, изучение жизни одной коммуны способно показать неустойчивость такой формы общежития и быть использовано как аргумент против анархизма. Одновременно историк с анархистскими убеждениями может найти в этом пусть краткосрочном опыте практическое воплощение глубинной потребности людей в самоуправлении.

Впрочем, на всех трех уровнях важно, что для историка (в отличие от философа, идеолога или политика) предметом интерпретации по умолчанию остается прошлое или просто иное, которое сопротивляется предпочтениям ученого и содержит в себе нечто новое в сравнении с его ожиданиями и опытом. Собственное настоящее и контекст историка работает как фон для исследуемой фигуры прошедшего, который полезно осознавать. Политическая борьба в настоящем не должна *заменять* споры о том, как лучше понимать историю в диапазоне от макронарративов до суждений об отдельных фактах.

Post scriptum: Аргумент Хейдена Уайта

Завершим наш анализ описанием и интерпретацией отдельного исторического факта. В 2004 году один из соавторов статьи имел редкий шанс лично задать вопрос Хейдену Уайту — в автобусе, ехавшем вниз по дороге из Фьезоле, где расположен Европейский университет (European University Institute). Вопрос звучал приблизительно так: считает ли Уайт невозможным изучение того, как «на самом деле» обстояли дела в прошлом? Ответ известного американского иконокласта неожиданно снял камень сомнений с души молодого историка — Уайт признал, что «реальность» существует и мы способны ее реконструировать.

В более поздних текстах Уайт более четко обозначил свою позицию о возможностях историографии свидетельствовать о подлинности прошлого. Мы можем исследовать обстоятельства прошлого, но достоверные факты оказываются наименее важным или наименее *практическим* из того, что должен делать хороший историк [White 2014]. Моральные уроки и отказ от встроеного в дисциплину консервативного реализма историков, с его точки зрения, гораздо важнее, чем, пусть и разумная, апелляция к фактам. Более того, Уайт указывал, что даже писатель или художница, создающие произведение о Холокосте или о Первой мировой войне, не просто воображают и представляют прошлое с помощью литературного языка (фикции), но и обращаются к тому самому событию как референту [Ibid.: 25—40]. Вместо отказа от ссылки на подлинные события, как порой случается у постмодернистов, Уайт скорее показывал, что история и литература образуют единый континуум, а зона их смешения важнее двух крайних полюсов. Вопреки Уайту и Олейникову, мы считаем важным допустить свободу историка не быть в плену у политических валентностей своих штудий на любом из трех условных уровней анализа и сохранять

научную автономию суждений через полемику, которая *не сводится* к указанию на одобряемые или неодобряемые нами политические предпочтения оппонента.

Как кажется, дисциплинирующее воздействие фактов языка и событий на историческое воображение и моральные чувства историков — чрезвычайно важное для всех нас обстоятельство. Языковой реализм утверждает речь как первичную социальную материю, о которой можно строить и проверять наши предположения. Мы способны выдвигать осмысленные гипотезы на уровне отдельных фактов, на уровне сообществ, воображаемых и создаваемых людьми с помощью языка, а также на уровне макронарративов и хронотопа истории в целом. Признание неизбежной политической валентности историографического повествования на каждом из трех уровней не должно означать отказа от автономии научного поиска — от идеалистической установки на интеллектуальную честность в обсуждении наилучшей интерпретации языковых фактов. Без признания этой автономии наши дискуссии и аргументы о высказываниях других людей теряют исходный смысл.

Библиография / References

- [Атнашев, Велижев 2018] — Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intelektual'noy istorii / Comp. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018.)
- [Атнашев, Велижев 2020] — *Атнашев Т.М., Велижев М.Б.* Первооткрыватель республиканской традиции, или Как заниматься политической философией с помощью истории политических языков? // Поккок Дж.Г.А. Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 821—850.
- (Atnashev T.M., Velizhev M.B. Pervootkryvatel' respublikanskoy traditsii, ili Kak zanimat'sya politicheskoy filosofiey s pomoshch'yu istorii politicheskikh yazykov? // Pokok J.G.A. Moment Makievelli: Politicheskaya mysl' Florentsii i atlanticheskaya respublikanskaya traditsiya. Moscow, 2020. P. 821—850.)
- [Бевернаж 2021] — *Бевернаж Б.* «Прошедшее прошлого»: некоторые размышления о политике историзации и кризисе истористского прошлого / Пер. с англ. А. Егоровой // Логос. Т. 31. 2021. № 4. С. 65—94.
- (Bevernage B. The Pastness of the Past?: Some Reflections on the Politics of Historization and the Crisis of Historicist Pastness // Logos. 2021. Vol. 31. № 4. P. 65—94. — In Russ.)
- [Велижев 2022] — *Велижев М.Б.* Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- (Velizhev M.B. Chaadaevskoe delo. Ideologiya, ritorika i gosudarstvennaya vlast' v nikolaevskoy Rossii. Moscow, 2022.)
- [Гинзбург 2004] — *Гинзбург К.* Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с итал. С.Л. Козлова. М.: Новое издательство, 2004.
- (Ginzburg K. Miti, emblemi, spie: morfologia e storia. Moscow, 2004. — In Russ.)
- [Деррида 2000] — *Деррида Ж.* Письмо и различие / Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000.
- (Derrida J. L'écriture et la différence. Saint Petersburg, 2000. — In Russ.)
- [Деррида 2006] — *Деррида Ж.* Призраки Маркса / Пер. с фр. Б. Скуратова под ред. Д. Новикова. М.: Левая карта, 2006.
- (Derrida J. Spectres de Marx. Moscow, 2006. — In Russ.)
- [Зенкин 2011] — *Зенкин С.Н.* Ложное сознание: Теория, история, эстетика // Интеллектуальный язык эпохи: История

- идей, история слов. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 22—38.
- [Zenkin S.N. Lozhnoe soznanie: Teoriya, istoriya, estetika // *Intellectual'nyy yazyk epokhi: Istoriya idey, istoriya slov*. Moscow, 2011. P. 22—38.)
- [Олейников 2021] — Олейников А.А. Время истории // *Логос*. 2021. Т. 143. № 4. С. 5—30.
- (Olejnikov A.A. Vremya istorii // *Logos*. 2021. Vol. 143. № 4. P. 5—30.)
- [Покок 2018] — Покок Дж.Г.А. The State of the Art. (Введение к книге «Добродетель, торговля и история») // *Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории* / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 142—188.
- (Pokok J.G.A. The State of the Art // *Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii* / Comp. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018. P. 142—188. — In Russ.)
- [Розов 2011] — Розов Н.С. Возрождение номотетики: основания и перспективы исторической макросоциологии // *Способы постижения прошлого. Методология и теория исторической науки* / Отв. ред. М.А. Кукарцева. М.: Канон+, 2011. С. 251—277.
- (Rozov N.S. Vozrozhdenie nomotetiki: osnovaniya i perspektivy istoricheskoy makrosotsiologii // *Sposoby postizheniya proshlogo. Metodologiya i teoriya istoricheskoy nauki* / Ed. by M.A. Kukarcev. Moscow, 2011. P. 251—277.)
- [Скиннер 2018] — Скиннер К. Значение и понимание в истории идей // *Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории* / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 53—122.
- (Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // *Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii* / Comp. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018. P. 53—122. — In Russ.)
- [Уайт 2002] — Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитоновой. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002.
- (White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. Ekaterinburg, 2002. — In Russ.)
- [Шартье 2004] — Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // *Новое литературное обозрение*. 2004. № 66. С. 17—47.
- (Chartier R. Histoire intellectuelle et histoire des mentalités: trajectoires et questions // *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2004. № 66. P. 17—47. — In Russ.)
- [Ankersmith 1989] — Ankersmith F. *Historiography and Postmodernism* // *History and Theory*. 1989. Vol. 28. P. 137—153.
- [Barthes 1968] — Barthes R. *La mort de l'auteur* // *Mantéa*. 1968. № 5. P. 61—67.
- [Baudrillard 1981] — Baudrillard J. *Simulacres et Simulation*. Paris: Galilée, 1981.
- [Bourdieu 1976] — Bourdieu P. *Le champ scientifique* // *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*. 1976. Vol. 2. № 2—3. P. 88—104.
- [Collini 2016] — Collini S. *The Identity of Intellectual History* // *A Companion to Intellectual History* / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Oxford: Wiley Blackwell, 2016. P. 7—18.
- [Derrida 1967a] — Derrida J. *De la grammatologie*. Paris: Minuit, 1967.
- [Derrida 1967b] — Derrida J. *L'écriture et la différence*. Paris: Seuil, 1967.
- [Dunn 1969] — Dunn J. *The Political Thought of John Locke*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- [Foucault 1967] — Foucault M. *Sur l'archéologie des sciences. Réponse au Cercle d'épistémologie* // *Cahiers pour l'analyse*. 1968. № 9. P. 9—40.
- [Foucault 1969] — Foucault M. *Qu'est-ce qu'un auteur?* // *Bulletin de la Société française de philosophie*. 1969. Juillet — septembre. P. 73—104.
- [Foucault 1971] — Foucault M. *L'ordre du discours*. Paris: Gallimard, 1971.
- [Freeden 2015] — Freedен M. *Liberalism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- [Geertz 1973] — Geertz C. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- [Gumbrecht 2014] — Gumbrecht U. *Our Broad Present: Time and Contemporary Culture*. New York: Columbia University Press, 2014.
- [Hartog 2003] — Hartog F. *Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps*. Paris: Le Seuil, 2003.
- [Hunt 2002] — Hunt L. *Against Presentism* // <https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2002/against-presentism> (accessed: 23.10.2022).
- [Jenkins 2009] — Jenkins K. *At the Limits of History. Essays on Theory and Practice*. London; New York: Routledge, 2009.
- [Jeppesen et al. 2013] — Jeppesen, Fr. Stjernfelt and M. Thorup. *Copenhagen: Automatic Press*, 2013.
- [Jameson 1991] — Jameson F. *Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press, 1991.
- [Jordheim 2012] — Jordheim H. *Against Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Tem-*

- poralities // *History and Theory*. 2012. № 2. P. 151—171.
- [Kuhn 1962] — *Kuhn T.* The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- [LaCapra 1980] — *LaCapra D.* Rethinking Intellectual History and Reading Texts // *History and Theory*. 1980. № 3. P. 245—276.
- [LaCapra 1983] — *LaCapra D.* Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Cornell: Cornell University Press, 1983.
- [LaCapra 1992] — *LaCapra D.* Intellectual History and its Way // *The American Historical Review*. 1992. № 4. P. 425—439.
- [Lyotard 1979] — *J.-F. Lyotard* La Condition post-moderne: rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979.
- [Osborne 2013] — *Osborne P.* Global Modernity and the Contemporary: Two Categories of the Philosophy of Historical Time // *Breaking Up Time: Negotiating the Borders Between Present, Past and Future* / Ed. by C. Lorenz, B. Bevernage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. P. 69—84.
- [Pettit 1997] — *Pettit Ph.* Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- [Pocock 1975] — *Pocock J.G.A.* The Machiavelian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975.
- [Pocock 1999] — *Pocock J.G.A.* Barbarism and Religion. Vol. 1: The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737—1794. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [Rorty 1979] — *Rorty R.* Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- [Rorty 1984] — *Rorty R.* The Historiography of Philosophy: Four Genres // *Philosophy in History* / Ed. by R. Rorty, J.B. Schneewind and Q. Skinner. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- [Rorty 1991] — *Rorty R.* Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- [Skinner 1998] — *Skinner Q.* Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- [Sweet 2022] — *Sweet J.* Is History History? Identity Politics and Teleologies of the Present Perspectives on History // <https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/september-2022/is-history-history-identity-politics-and-teleologies-of-the-present> (accessed: 22.10.2022).
- [Whatmore 2016] — *Whatmore R.* What is Intellectual History? Cambridge; Malden: Polity Press, 2016.
- [Whatmore, Young 2016] — *A Companion to Intellectual History* / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Oxford: Wiley Blackwell, 2016.
- [White 1973] — *White H.* Metahistory: The Historical Imagination in 19th-century Europe. Michigan: Johns Hopkins University Press, 1973.
- [White 2005] — *White H.* Historical fiction, fictional history, and historical reality // *Rethinking History*. 2005. № 9. P. 147—157.
- [White 2014] — *White H.* The Practical Past. Evanston: Northwestern University Press, 2014.